

Александр Яшин
Федор Абрамов
Владимир Солоухин

Триумф совести

Литературный
альманах

Никольск
2008

Под общей редакцией
М.В. БЕРЕСНЕВОЙ,
руководителя клуба-музея «Земляки».

Отпечатано в
МРИУ «Редакция газеты «Авангард»
Тираж 300

Слово к читателю

27 марта сего года отмечается 95-летие Александра Яковлевича Яшина, признанного, наконец-то, классика русской поэзии и публицистики. Ко всем планируемым юбилейным мероприятиям предлагаю издать сборник публицистики: включить полный текст выступления Яшина на Втором съезде писателей СССР 21 декабря 1954 года; рассказ Яшина «Рычаги», опубликованный в альманахе «Литературная Москва» в 1956 году («Рычаги» подверглись высокой критике в журнале «Коммунист», где автора обвиняли в «очернительстве» и «злопыхательстве»),

Федор Александрович Абрамов опубликовал в журнале «Нева» очерк «Вокруг да около». Яшинская «Вологодская свадьба» совпала по времени с публикацией очерка Абрамова. (Архангельская областная газета публикует ответное письмо Абрамову «Куда зовешь, писатель?»)

«Очернитель» Абрамов приезжает к Яшину на Бобришный Угор, и общаются «очернители» почти две недели, ездят по району, встречаются с прототипами «Вологодской свадьбы». После смерти Яшина Абрамов написал воспоминания о встрече с Яшиным под названием «Семь верст до небес». Включить эти воспоминания вслед за «Рычагами» Яшина - веление времени.

Владимир Солоухин в 1988 году написал вступительную статью к книге А. Яшина «Земляки».

Александр Яшин, Федор Абрамов и Владимир Солоухин умерли, но их жизнь, их идеи составляют прекрасный Триумвират. И назвать сборник целесообразно двумя словами «Триумф совести».

ПАВЛОВ Алексей Александрович,
Почетный член клуба-музея «Земляки»,
выпестованного М.В. Бересневой.
14 января 2008 года.



Выступление А.Я. Яшина
на II съезде писателей СССР
21 декабря 1954 года

Седьмой день съезда. Утреннее заседание

Председательствует **Б. Кербабаев.**

Председатель. Товарищи, продолжаем работу съезда. Слово предоставляется Александру Яшину.

А. ЯШИН. Первый Всесоюзный съезд советских писателей прошел под знаком консолидации всех творческих сил страны, поддерживавших платформу советской власти.

Главным содержанием и смыслом работы Второго съезда, мне думается, должны стать утверждение полного торжества метода социалистического реализма, борьба за устранение причин, мешающих всестороннему и правдивому показу жизни и деятельности советских людей.

В приветствии Центрального Комитета партии Второму Всесоюзному съезду советских писателей сказано, что «отступления от принципов социалистического реализма наносят ущерб развитию советской литературы» и что «на развитие нашей литературы отрицательно повлияли проявившиеся в ряде произведений тенденции к некоторому приукрашиванию действительности, к замалчиванию противоречий развития и трудностей роста».

Отступление от принципов социалистического реализма происходило по разным линиям и порождалось разными причинами. Мы все сошлись на том, что в годы Великой Отечественной войны советская поэзия, как и вся литература в целом, оказалась на высоте своих задач. Жизнь народа этих лет показывалась широким планом. Мы все тогда, в той или иной степени, испытали счастье взаимного доверия и полного творческого единения с читателем. По окончании войны народ наш с огромным напряжением всех сил взялся за восстановление разрушенного войной хозяйства, жил трудно, терпел всевозможные лишения, а в поэзии затянулась атмосфера ликования после победы. Мы в значительной степени оказались не подготовленными к новым испытаниям. Давно уже было пора переключить поэзию на обслуживание борьбы народа за лучшие условия жизни, воевать за них вместе с народом, а мы сглаживали противоречия и жизненные конфликты и часто подменяли изображение подлинной жизни и борьбы схоластическими представлениями о том, какую она должна быть, отрывали мечту от действительности.

Мы сочиняли слова о завтрашнем дне и слабо, плохо воевали за сегодняшний день, выдумывали всевозможные ситуации о том, например, как будет распределяться бесплатный хлеб в хрустящих пакетах, и не сражались по-настоящему за изобилие хлеба сегодня.

Разрыв, намечившийся между поэтическим изображением жизни и ее подлинностью, особенно был заметен в большом количестве наших стихов и поэм о деревне. Разными путями создавалась та атмосфера лакировки и хвастовства, которые снижали партийную действенность

нашей прозы и поэзии. Шло это и по линии критики, и по линии журналов, и издательств, и газет. Во многом виноваты и мы сами, писатели.

Был такой случай. Несколько лет тому назад т. Фадеев на писательском собрании рассказал о том, как в одной приволжской сельскохозяйственной артели колхозники отказались от мешавших им приусадебных участков и просили разрешения сдать всех собственных коров на МТФ, потому что общественное хозяйство колхоза уже полностью обеспечивало их всеми необходимыми продуктами питания. Руководители района и области якобы испугались, что это будет нарушением устава сельскохозяйственной артели.

Все это было, все правильно, и хорошо, что Александр Александрович нам рассказал об этом, но почему он, наш руководитель, к словам которого мы внимательно прислушиваемся и ориентируемся на него, не счел тогда возможным и нужным поведать и о том, что вокруг богатого колхоза были колхозы с запущенным общественным хозяйством, которых он не мог не видеть?

Почему не мобилизовал наше внимание и энергию и на то, чтобы глубже понять причины отставания других колхозов, вмешаться и своевременно сигнализировать о появлении новых конфликтов и противоречий в жизни советской деревни? Почему для этого нам нужно было ждать специальных решений по сельскому хозяйству пленумов ЦК партии?!

Изображая единичное, как массовое, утвердившееся уже повсюду, мы начали приукрашивать жизнь деревни и тем самым обедняли, принижали духовный мир и стойкость советских людей. В стихах появились риторика, одноплано - вость, оптимизм во что бы то ни стало.

Это было первым отступлением нашим от принципов социалистического реализма. Здесь наметилось начало того охлаждения читателя к стихам, о котором мы так много писали и говорили в последнее время.

Постепенно живые люди стали заменяться в стихах манекенами, машинами, станками. И часто уже не интерес к тому или иному человеческому характеру определял выбор героев для литературного произведения, а, прежде всего, их производственная специальность. Соответственно и читатели наши стали понимать стихи слишком

прямолинейно. Появилось страшное слово «не отобразили». Каждый стал требовать от писателей «отображения» людей своей специальности.

Во многих поэмах последних лет поступки героев определялись не естественным развитием их характеров и сюжетных событий, а ходульной, заранее намеченной автором схемой произведения. Интерес к человеку как к главному объекту художественного творчества стал ослабевать.

В живописи в эти годы появилась масса невыразительных фотографических портретов, на которых больше всего выписывались ордена и медали. Человек сам по себе, без орденов и медалей, не вдохновлял художника. Проторенными дорогами, от одной машины к другой, от станка к станку, стало ходить бойкое перо приспособленцев. Их меньше всего интересовали люди.

В Белоглазовском районе Алтайского края была в свое время у секретаря райкома партии ездая лошадь. За многие годы своей райкомовской службы она усвоила неизменный путь от одного полевого стана к другому. Стоило выехать в поле, она сама поворачивала к первой завидевшейся вдаль машине. Увидит трактор — сворачивает к трактору, увидит сеялку — к сеялке, простую телегу — к телеге. Даже править ею не надо. И неважно было для нее, что у телеги может не оказаться ни одного человека. О такой лошади говорят — умная лошадь. Но для писателя мало одних условных рефлексов.

Нельзя сказать, что мы все поголовно не видели сложностей в жизни послевоенной колхозной деревни. Но мы бежали от них. Не случайно, что и в творческие командировки из Москвы мы старались ездить в отдаленные южные колхозы страны — на Кубань, на Украину, в другие союзные республики, — потому что больше всего недоделок и запущенности было в колхозах северных и центральных областей России.

В 1951 году на моей родине, в Вологодской области, был неурожай. В отдельных колхозах и районах хлебов почти не собрали. А местные перестраховщики начали отдавать под суд председателей колхозов за невыполнение хлебозаготовок.

Я был в это время в своем родном колхозе и видел, что сложившаяся в результате стихийного бедствия обстановка требовала совсем других мер. И я до сих пор чувствую себя виноватым перед партией, перед

своими земляками, что не проявил достаточно гражданского мужества и не сделал сразу всего необходимого, чтобы добиться исправления явно ненормального положения. Оно было исправлено партией без моего, писательского участия.

У меня, видимо, не хватало внутренней убежденности, что в наших советских условиях все, что в той или иной мере мешает людям жить счастливо и работать спокойно, все, что не соответствует нашим понятиям о справедливости, ничем не может быть оправдано.

А такая внутренняя убежденность должна быть у нас в крови, ибо интересы народа есть интересы Коммунистической партии, а значит и наши писательские интересы.

С позиций советского человека, а не с позиций обывателя и ворчуна, мы можем и должны писать и говорить обо всем, что встречаем в жизни неверного, ошибочного, и мы никогда не ошибемся. Мало поклясться в верности принципам социалистического реализма, надо драться за их торжество и в литературе, в самой жизни.

Другой пример. Проведенное укрупнение колхозов дало огромный экономический эффект, создало условия для наиболее полного использования могучей сельскохозяйственной техники и всех резервов и возможностей, заложенных внутри колхозной системы. В этом я убедился сам еще раз летом текущего года на Алтае. Но я до сих пор не убежден, что укрупнение колхозов, проведенное одновременно и в лесных районах севера, продиктовано хозяйственной целесообразностью и не преждевременно. Мелкие поля колхозов, отстоящих одно от другого на пять, восемь и больше километров и разделенных лесными массивами, пока никак не могут быть слиты. Колхозные бригады в отдельные сезоны просто не общаются друг с другом из-за отсутствия дорог. Создались дополнительные трудности, а использование техники не улучшилось.

Я высказал свои соображения министру сельского хозяйства СССР на встрече с ним актива «Литературной газеты». Товарищ Бенедиктов ответил, что если будет доказано, что укрупнение колхозов в лесных районах Вологодской области проведено по шаблону, без должного хозяйственного расчета, то кое-где это мероприятие можно будет пересмотреть. Я не считаю такой ответ министра серьезным.

Кем будет доказано? Когда, кто это сделает?

Но как советский писатель, я сам считаю себя виноватым, что до

сих пор не смог поставить этот вопрос серьезно и с необходимой обстоятельностью. А ставить такие вопросы мы обязаны.

Мы больше сделали бы для партии, для народа, если бы глубже чувствовали свою ответственность за все стороны жизни в стране и ни при каких обстоятельствах не прятали голову под крыло.

Мне кажется, что Александр Твардовский, который в эти годы, к глубокому сожалению, вообще перестал писать о советской деревне, поступил именно так - он спасовал перед сложной обстановкой, создавшейся в ряде наших колхозов после войны, спрятал свою голову под крыло.

И поэтому мы все были особенно благодарны писателям Валентину Овечкину, Владимиру Тендрякову, Сергею Антонову, Анатолию Калинину, которые первые начали искупать нашу общую вину перед народом и партией, найдя путь для честного, прямого и страстного разговора о новых противоречиях и контрастах в колхозной деревне.

Лакировка вместо критики и самокритики и бездумное бахвальство сдерживают развитие нашей могучей литературы, ослабляют ее воздействие на жизнь и людей.

У нас появился даже так называемый свой «внутренний редактор», сбивавший с толку писателя, появились всевозможные перестраховщики, которые готовы были устанавливать точные схемы для каждого стихотворения. Сами конфликты сплошь и рядом становились схематичными, надуманными и создавались по указке «внутреннего редактора».

Надо раз и навсегда освободиться от этих указок. Только жизнь народа, его борьба могут диктовать социалистическому искусству свои законы. А борьба не признает никаких схем, никаких шпаргалок. Советский писатель должен больше доверять себе и своему читателю. Этого доверия надо требовать от всех, имеющих отношение к советскому искусству.

Мне вспоминается характерный случай, когда летом 1954 года в одной МТС Алтайского края готовили бригадира тракторной бригады, уже немолодого человека, для ответственной поездки на совещание передовиков сельского хозяйства Сибири. Дирекция МТС решила заранее строго определить и рассчитать каждый шаг своего представителя. Его наставляли: что говорить, что делать, как отвечать на вопросы. Пытались предусмотреть все его поведение, весь распорядок его жизни

в Новосибирске. Конечно, для него написали и перепечатали на машинке речь, которую он должен был произнести, и заставили его заучить ЭТУ речь наизусть, чтобы он не вздумал сказать ни одного слова от себя

Наконец в последнюю минуту перед отъездом директор МТС вручил бригадирю костюм со своего плеча и заставил надеть рубашку с галстуком. Бригадир молчал и делал все, что от него требовали.

Но, покинув контору МТС, бригадир, как об этом после рассказывали, сбросил с себя директорский пиджак и непривычную рубашку с галстуком, надел украинскую вышитую сорочку, а шпартгалку порвал с ожесточением.

«Неужели я не могу сказать своими словами что следует? Командируют, а веры человеку не дают!» - сказал он.

В течение многих лет с подобным же недоверием к человеку мы встречались и в тех случаях, когда дело касалось лирики.

Сейчас некоторые критики стараются свалить все вины за отсутствие богатства и многообразия в советской лирической поэзии на самих поэтов. Поэты якобы «боялись» писать стихи о любви, о ревности, о всей сложности духовной жизни человека. Но кто из нас, поэтов, не испытал на себе угнетающего недоброжелательства по отношению к тем нашим лирическим стихам, которые в какой-то мере не отвечали установившейся оптимистической схеме? Замордовали лирику — и нас же в этом винят.

Разве не факт, что даже из сборников Маяковского все еще выбрасывают его потрясающие по силе трагедийные стихи и поэмы о неразделенной любви и что мы до сих пор не можем добиться, чтобы советский читатель, отредактировавший и отстоявший для себя от всяких ханжей и перестраховщиков богатейшее наследие Сергея Есенина, получил бы, наконец, его книги? (Аплодисменты).

Из любовной лирики у вас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруге. И чтобы не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений! Насаждался своеобразный лирический бюрократизм. (.Аплодисменты) Не случайно, что в лирической поэзии у нас больше всего распространилось стихов халтурных, приспособленческих, фальшивых, которые сами по себе напоминают пародии. А широко апробированную читателями талантливую книгу лирики Константина Симонова «С тобой и без тебя» старались и поныне стараются всячески опорочить, скомпрометировать под разными предлогами. (Аплодисменты.)

К слову, о Симонове. Я не могу не сказать о своем огорчении, что позавчера в интересном и живом выступлении Валентина Овечкина содержались несерьезные и, по-моему, бестактные, продиктованные какими-то мелкими чувствами выпады против этого писателя. (Аплодисменты.)

Я не понимаю этих разговоров о «гениальности». Талант Константина Симонова развернулся на наших глазах в большую силу. Я недавно прочитал в издательстве «Советский писатель» в рукописи его новую книгу стихов и смею сказать, что это работа крупного поэта.

В нашей стране ценится труд. Я убежден, что если бы все мы умели трудиться так, как Симонов, советская литература была бы уже неизмеримо богаче и многообразнее, чем сейчас. Похвалы могут навредить только бездельнику, а Симонов живет большой жизнью и труженик, какие встречаются не часто.

О гениальности или негениальности при жизни писателя обычно не говорят, несерьезно это. Но говорят, что гений - это прежде всего труд.

Вообще у нас в Москве в последнее время стало почти модой всячески поносить людей, которые много работают в Союзе писателей, на которых мы сами взвалили этот нелегкий и не всегда благодарный труд. Странное понимание внутрисоюзной демократии!

Несколько слов о стихах в газете. Всем известно, что при нынешних, малых для нашей огромной страны тиражах поэтических книг и при безобразном «распределении» и организации книжной торговли — в отдаленных районах вы не найдете стихов любимого поэта. Не хватает там и журналов. Читатели стихов и огромная масса пишущей молодежи довольствуются тем, что попадет в газеты. Совершенно понятно поэтому желание каждого поэта напечатать свои лучшие стихи в газете.

Иногда нас упрекают в том, что мы не хотим работать в газете. Это неправда. Поэты в массе своей хотят и могут работать в газете. У нас есть для этого и силы и способности.

Но почти во всех наших центральных газетах отношение к стихам стало чисто утилитарным, однобоким. Принято печатать стихи в праздничных номерах, как украшение, и лишь в том случае, если для стихотворения окажется местечко где-нибудь на подверстку. Ни о каком многообразии поэзии и популяризации ее тут, конечно, и речи быть не может. Из года в год идут стихи первомайские, новогодние и

т. д., причем круг авторов очень узок. Для серьезно работающих поэтов такое отношение газеты к стихам просто оскорбительно.

Я считаю, что творческая практика отдела литературы и искусства нашей «Правды» в течение многих лет не соответствует ее же собственным статьям и теоретическим установкам по вопросам поэзии. Наибольшее количество рифмованных штампов создано именно здесь. Были случаи, когда в «Правде» печатались одно за другим стихи, не только не имеющие ничего общего с поэзией, но просто неграмотные. Долгое время, например, честь печататься в газете «Правда» предоставлялась Борису Филиппову, поэту слабому и не оригинальному. Можно представить себе, какие образцы для творческой учебы и подражания получала поэтическая молодежь!

А в последнее время литературный отдел «Правды» почти перестал печатать оригинальные русские стихи, ограничиваясь в редких случаях переводами.

Неуважительное на практике отношение некоторых наших главных газет к работе поэтов не способствует росту и развитию поэзии. Дело доходит до того, что даже «Литературная газета» не считает уже зазорным без ведома автора вставлять в его стихи строчки и целые строфы, написанные наспех работниками редколлегии.

Социалистический реализм требует от нас правдивого, исторически конкретного изображения жизни в ее революционном развитии. Для нас, советских писателей, мало «создавать образы» — мы обязаны участвовать в формировании самого нового человека на земле.

Для этого необходимо, чтобы партийное, активное отношение к жизни пронизывало всю нашу работу. Мы должны чувствовать себя журналистами, боевыми соратниками народа во всех его великих и трудных делах. Бюрократизм проник в литературу и даже в наше сознание и поведение. Выжечь его, вытравить, заговорить во весь голос, помогать людям жить лучше, не оглядываться на перестраховщиков, на Марию Алексеевну, не фальшивить, не бояться правды во имя торжества единственной великой правды на земле — правды коммунизма! (Продолжительные аплодисменты).

Стенографический отчет.
«Советский писатель», Москва, 1956 г.
(Из архива А.А. Павлова).

Александр Яшин

Рычаги

Рассказ

(Опубликован в приложении к газете «Известия»
«Неделя» N 20 (18-24 мая 1987 г.)

С верой в человека

Живое слово, непоблекшие краски, жизнь, реальность, не потускневшая за десятилетия. Взгляд Александра Яшина, полный горечи и нежности к людям, все так же настойчиво обращен к нам, ищет понимания, взывает к нашей совести и деловой энергии. Жемчужина советской прозы, хрестоматийный рассказ «Рычаги»: в нем постигнутое время, эпоха, именно потому он перешагивает через свое время, приходит к нам не элегическим вздохом памяти, а весомо, для работы рядом с нами но перестройке нашей жизни.

Это хрестоматийность без «глянца», здесь шершавый, грубый, простой контекст жизни, без подмигивания или нарочитой выстроенности. Особой простоте, с какой написаны «Рычаги», русская литература училась целый век, во многих классах, от «Капитанской дочки», от некрасовского «Кому на Руси жить хорошо» до чеховских шедевров.

Уверен, что «Рычаги» нужно прочесть дважды, по крайней мере, дважды, и только тогда вполне насытиться рассказом. Непременно перечесть, чтобы не обмануться его обыденностью, его открытым диалогом, будто бы не оставляющим тайн и загадок. Нужно перечесть, чтобы за дерзостной простотой этой прозы ощутить ее нежность и поэзию; взглядеться в каждого из пятерых сельских коммунистов, запомнить «безрукое плечо» Петра Кузьмича, землю, «не грязь, а землю» под ногтями Коноплева; уловить тончайшие перепады повествовательного ритма; постичь всю меру привязанности автора к простым и сердечным людям труда; понять, отчего исчезает в их отношениях «земное,

естественное» и берет над ними верх мертвящая казенщина. Нужно чувствовать, как пригасает фитиль лампы, когда недостает кислорода, - ведь «.. лампе тоже воздух нужен».

Финал рассказа, исполненный надежд на общественные перемены, не спас «Рычаги» от разгрома догматиками. И сам автор много лет выходил из рычагов, как после тяжелой, необратимой травмы. Лучшие его вещи после «Рычагов» - «Вологодская свадьба» и «Сирота», - рассмотренные в бюрократический окуляр с искажающей линзой, подвергались остракизму или встречались недобрым молчанием.

Но возвратились и «Рычаги». Выдержали проверку временем - рассказ нужен для сегодняшних, земных дел, для воспитания совести и души. Горько, что с нами нет автора, такого необходимого нам, нелицеприятного, прямого Александра Яшина, но ведь возвращение «Рычагов» - радость общая, праздник всей литературы и ободрение тем, кто только начинает писать, намереваясь говорить читателям правду.

Александр Борщаговский.

Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа, и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон. Временами в горшке от брошенной сигарки вспыхивал огонь, тогда животновод Цыпышев прикрывал горшок осколком настольного стекла. При этом каждый раз кто-нибудь произносил одну и ту же шутку:

- Сожжешь бороду - коровы боя ться перестанут!

На что Цыпышев неизменно отвечал:

- Бояться перестанут, может, удоя прибавят.

И все смеялись.

Пепел с сигарки стряхивали на пол, на подоконники, а в горшок кидали только окурки.

Сидели долго, разговаривали неторопливо - обо всем понемногу

и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи.

Сквозь полумрак на бревенчатых стенах просматривались кое-какие плакаты и лозунги, список членов колхоза с указанием по месяцам количества выработанных трудодней, обрывок старой стенной газеты и пустая, вся черная доска, разделенная белой чертой на две равные части: на одной половине мелом было написано «черная», на другой половине – «красная».

- А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили! - сказал кладовщик Шукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из накладного кармана пиджака торчали авторучка и расческа.

- Донес, что ли кто? - лукаво спросил его третий из сидящих за столом, человек без левой руки, полный, рыхловатый, в затасканном, чуть ли еще не френтовом брезентовом плаще внакидку.

- Никто не доносил, а сам Никола послал мне с бабой килограмма два, сказал - после рассчитаемся.

- И ты взял?

- Нет, не взял... Не брать, так всю жизнь без сахара просидишь.

И ты бы взял.

- Ну, тебе-то, Петр Кузьмич, он не пошлет! - засмеялся в бороду Цыпышев, глянув на однорукого сбоку, с прищуркой.

- Злой он на тебя. А Серега ему свой человек, - обернулся он к Шукину.

- Серега его не снимал с кладовой, хоть и сел на его место.

Сергей Шукин совсем недавно был рядовым колхозником. Вступив в партию месяц назад, он начал поговаривать о том, что (...) ему теперь просто неудобно не продвигаться по должностям. С ним согласились. Вспомнили, что колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за воровство, и поставили в кладовую Шукина. На очередном общем собрании никто против этого решения возражать не стал. Шукин купил себе авторучку и стал носить галстук. А предшественник его ушел на работу в сельпо. О нем сейчас и шел разговор.

- Взял-то я взял, - сказал Шукин после некоторого раздумья, - но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где все? - После этих громких слов он достал расческу и стал приглаживать густые, молодые, непокорные волосы.

Тогда дал о себе знать и четвертый собеседник:

- Зачем тебе правда, ты сейчас - кладовщик?

Четвертый был человек средних лет, но уже с сединой, бледный и, по-видимому, не очень здоровый. Он курил беспрерывно, больше всех и много кашлял. Когда протягивал руку к горшку, чтобы выкинуть обжигавший пальцы окурок, видны были его большие толстые ногти и под ногтями - земля, не грязь, а земля. Это был бригадир полеводческой бригады Иван Коноплев. Слыл он мужиком справедливым, но злым, говорил он редко, но едко. На резкие слова его обычно никто не обижался, видимо, люди не чувствовали в них нелюбви к себе. Не обиделся и Щукин.

А однорукый, которого все называли по имени и отчеству. Петром Кузьмичом, возразил:

- Ну, правда - она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается? Вот ведь сказали - планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло - с районным планом не сходятся. А районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда! Не верят нам.

- Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала,— сказал бледный Коноплев и бросил окурок в горшок.

Ввернул свое слово и Щукин:

- Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима - так, что ли, выходит?

На лице бородатого животновода Цыпышева вдруг промелькнули настороженность и какое-то чувство неловкости - казалось, ему перестал нравиться этот доверительный разговор.

- Ладно, руби, да знай, куда щепки летят,— жестко заметил он

Щукину. И тут же изменил тон, словно пожалел о своей грубости.

- Правда, брат, она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть, - сказал и засмеялся, раздувая усы и бороду.

Борода у Цыпышева росла не только на бороде, но и на щеках и за ушами, сливалась с густыми рыжеватыми бровями, нависавшими на глаза, и когда Цыпышев смеялся - смеялось все его лицо, все волосы, а глаза поблескивали откуда-то из глубины их.

- Был я на днях в райкоме, у самого, - продолжал Петр Кузьмич, называя так первого секретаря райкома. - Что же, говорю, вы с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять, обидятся. Нам лен нужен. Под лен и лучшую землю отводить следует. А опыты у нас уже были и с кроликами, и с травопольем. Сколько людей зря извели. Хлеба не стало - государству же во вред. Дайте, говорю, под кукурузу хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем - сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу... «Нет, говорит, сразу. Надо, говорит, план перевыполнить, надо активно внедрять новое».

Активно, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля - она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указывал - активно убеждать надо. А он говорит. «Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других [...]. Вы, говорит, теперь наши рычаги в деревне». Говорит, а сам руками разводит, видно, ему тоже не все сладко. А гибкости в нем нет, не понимает он, чего хочет партия, боится понять.

- Накаленная атмосфера! - как бы пояснил его слова Щукин и снова потянулся за расческой.

- И не будет сладко. Он все равно долго здесь не усидит, - сказал Цыпышев.

- Не так себя поставил, строго очень. Людей не слушает, все сам решает. Люди для него - только рычаги. А я так понимаю, ребята, что это и есть бюрократизм. Вот, скажем, приходам мы к нему на собрание. Ну, поговори, как человек, по душам. Нет, не может без строгости, обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнем, товарищи! Все в сборе?». Ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки... Скажи прямо, если что неладно, — народ горы своротит за одно прямое слово. Нет, не может.

- Он думает, что партия авторитет потеряет, если он с народом будет разговаривать, как человек, по-простому. Ведь твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается

благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство. Скажи, мол, живете вы неважно потому-то и потому-то... но будем жить лучше. Скажи - и люди охотнее за работу возьмутся.

- Накаленная атмосфера! - снова заключил Щукин горячие слова Петра Кузьмича.

Иван Коноплев докуривал новую сигарку, нервничал и все порывался сказать что-то - видно, резкое и едкое, но тяжелый астматический кашель вдруг схватил его и вывел из-за стола. У порога Коноплев поднял веник и долго плевал в угол. А животновод Цыпышев с сочувствием выговаривал ему:

- Опять, наверное, табак сменил? Я давно наказывал - кури одну махорку, да корешковую, легче будет.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, Коноплев поднял голову и сказал с хрипотцой:

- Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые. А как люди, что люди, с чем они остались?... - и Коноплев опять мучительно закашлялся.

- Ладно, ладно, помолчи, а то вся душа наружу выскочит! - Цыпышев встал из-за стола и пошел к порогу, к Коноплеву. - Вот погоди, Иван, мы тебе путевку через райком выхлопочем. Съездишь к морю за воздухом, заодно посмотришь, как люди там живут, поучишься и нам расскажешь. Смелости всем добавишь.

Коноплев сделал навстречу ему нетерпеливое движение рукой - сиди, дескать, зачем сюда лезешь, уйди! - но сказать из-за кашля ничего не смог. Цыпышев вернулся к столу.

- Женка ему такую путевку пропишет, что и родных не узнает, - сказал Щукин. - Она у него наблюдательная: кашляй сколько хочешь, кури, пей, только чтобы от нее ни на шаг.

- Воздух у нас свой не хуже морского, - мечтательно заметил Петр Кузьмич. - Воздух-то есть! Раньше, бывало, лечиться от кашля ходили на смолокурни или живицу гнать. В сосняке поживет человек недели три-четыре, пособирает эту живицу из коробочек в бочки -

глядишь, и деньги заработает, и дыханье легче станет. Закупают ли нынче где эту живицу? Что-то я не слышал. Терпентин из нее какой-то делали да канифоль для скрипачей. Сейчас, поди, без канифоли играют.

- Пластмассой заменили. Вот! - Щукин показал свою расческу.- Она тоже из пластмассы.

На расческу Щукина никто не взглянул.

- А лампа у нас совсем гаснет, ребята, - поднял кверху свою бороду Цыпышев.

От порога отозвался Коноплев:

- Погаснешь без воздуха. Лампе тоже воздух нужен.

Коноплев последний раз пошумел сухим веником и вернулся к столу. Лицо у него было бледное, дыхание тяжелое.

- Я так понимаю наши дела, - сказал он. - Пока нет доверия к рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебнем горя немало. Пишут у нас: появился новый человек. Верно - появился! Колхоз переделал крестьянина. Верно, - переделал. Мужик уже не тот стал.

Хорошо! Так этому мужику доверять надо. У него тоже ум есть.

- Не волк съел, — подтвердил Цыпышев.

- Вот! И нас не только учить — и слушать надо. А то все сверху да сверху. Планы спускали сверху, председателей сверху, урожайность сверху. Убеждать-то некогда, да и нужды нет, так оно легче. Только спускай, знай, да рекомендуй. Культурную работу свернули - хлопотно, клубы да читальни только в отчетах действуют, лекции и доклады проводить некому. Остались кампании по разным заготовкам да сборам - пятидневки, декадниги, месячники!..

Коноплев передохнул, и Петр Кузьмич воспользовался этим, вставил слово:

- Бывает и так: клин не лезет, а дерево виновато, говорят - дерево с гнильцой. Поди-ка не согласишься в районе. Они тебе дают совет, рекомендацию, а это не совет, а приказ. Не исполнишь - значит вожжи распустил. Колхозники не соглашаются - значит политический провал.

- А почему - провал?! - почти крикнул Коноплев. - Разве мы не за одно дело болеем, разве у нас интересы разные?

- Ну, райком тоже, брат, по головке не гладят, коли что. И с них

требуется дай боже.

- Дай боже, дай боже! - горячился Коноплев. - Рядом, в Груздихинском районе, другие порядки. Шурин приезжал на днях, рассказывает: там у председателей поджилки не дрожат, когда начальство их в район вызывает. Нет этого страха. Секретарь в колхоз приходит запросто, разговаривает с людьми не по бумажке.

На полке в переднем углу слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипение и потрескивание пробивалась не музыка, а окающая с запинками речь. Передавались письма с целинных земель. Какой-то паренек рассказывал о своих трудовых успехах на Алтае. Собеседники прислушались.

«Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем, урожай в прошлом году выдался небывалый. В пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было...»

Паренек обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном.

- Ты смотри, - сказал Петр Кузьмич, - и там свои беды: хлеб ссыпать некуда. Хоть бы навесы какие-нибудь понастроили, чтобы зерно не гнить. - Он ткнул рукой в сторону радиоприемника, и брезентовый плащ соскользнул с его левого безрукого плеча.

- Не всем же на Алтай ехать! - буркнул Коноплев и, закашлявшись снова, поднялся из-за стола, взял обеими руками горшок с окурками, пошел к порогу. Там он откинул ногой веник и вывалил окурки в угол.

И тогда обнаружилось, что в избе во все время этого разговора присутствовал еще один человек. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик:

- Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать. Пол только вымыла, опять запаскудили весь.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись.

Бывает нечто подобное в зимнюю ночь, когда рассказывает кто-нибудь страшную сказку и вдруг от мороза оглушительно треснет угол избы или настезь раскроется дверь.

- Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?

- Чего надо... За вами слежу! Подпалите контору, а меня под суд

потянут. Метла сухая, вдруг - искра, не приведи бог...

- Иди-ка ты домой.

- Когда надо будет - уйду.

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми.

На мгновение стала слышна улица, шум ветра, далекая девичья песня.

Сергей Шукин выключил приемник, голоса целинников пропали.

Мужики снова стали отрывать клочки газеты, понемногу вытягивая ее из-под разбитого стекла, и скручивать сигарки и козьи ножки. Долго молчали, курили... А когда опять начали перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы - ни о чем и ни для кого. Про погоду - дрянная стоит погодка, в такую погоду кости ломит; про газеты - они ведь разные бывают, из другой свернешь сигарку, так горечь одна, и табаком не пахнет; потом что-то про вчерашний день - сходить куда-то надо было, да не ходил; потом про завтрашний день - надо бы встать пораньше, в кои-то веки баба собирается блинами накормить... Пустые фразы, но даже и такие произносили уже приглушенно, тихо, то и дело оглядываясь по сторонам да на печку, словно за ней скрывалась не Марфа, конторская уборщица, а какой-то посторонний, непонятный человек, которого следует остерегаться. Цыпышев посерьезнел, больше не разговаривал, не улыбался, только раза три спросил, так, не обращая ни к кому:

- Что это учительница замешкалась?

Начинать бы надо партийное собрание.

Один Шукин вдруг повел себя несколько странно: ему не сиделось на месте, табуретка под ним поскрипывала, глаза-молодые, озорные, с хитринкой — блестили и смотрели на всех с вызовом. Казалось, Шукин вдруг увидел что-то такое, чего никто другой еще не видел, и потому почувствовал свое превосходство над другими. Наконец, он не выдержал и громко захохотал.

- Ох, и напугала же нас проклятая баба!

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись и тоже захохотали.

- И верно - дьяволица! Вдруг из-за печки как рывкнет. Ну, думаю... - Иван Коноплев с трудом закончил фразу: - Ну, думаю, сам приехал, застучал нас...

- Перепугались, как мальчишки на чужом горохе.

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие.

- И чего мы боимся, мужики? - раздумчиво и немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич: - Ведь самих себя уже боимся!

Но Цыпышев не улыбнулся и на этот раз. Он словно не заметил, что заливались и Коноплев и Петр Кузьмич, а только на Сергея Щукина взглянул строго, как старший.

- Молод ты еще, чтобы над этим смеяться! Поживи с наше...

Но Щукин уже не унимался. К тому же и Петр Кузьмич и Коноплев были явно на его стороне. Они оживленно подмаргивали ему и продолжали смеяться.

- Вот так и боимся! - сказал Коноплев.

Марфа за печкой молчала. В контору ввалились два паренька комсомольского возраста.

- Вы зачем? - повернулся к ним Цыпышев всем телом.

- Радио хотим послушать.

- Нельзя. У нас сейчас партсобрание будет.

- А нам куда? Тут нас много.

- Куда хотите.

Сказав это, Цыпышев оглянулся на своих друзей, словно хотел узнать, одобряют ли они его поведение. Петр Кузьмич не одобрил.

- Вот что, молодцы, - сказал он, обращаясь к ребятам. - Мы тут провернем партсобрание, поговорим, а потом уж вы занимайте позиции.

Наконец пришла и учительница, Акулина Семеновна, - молодая, низкорослая, почти девочка. Она устало распутала и сняла с головы серый шерстяной платок и ткнулась в угол под деревянную полку с приемником. С ее приходом немного оживился и Цыпышев. Но это его оживление выразилось в том, что он преувеличенно строго, начальнически заговорил с учительницей.

- Ты что это, Акулина Семеновна, всех ждать заставляешь?

Акулина Семеновна виновато посмотрела на Цыпышева, на Петра Кузьмича, потом на горшок с окурками, на лампу и опустила глаза.

- Ну... задержалась... в школе. Вот, Петр Кузьмич, - обратилась она к однокласснику, - я бы до начала собрания хотела решить вопрос. В школе дров нет...

- О делах потом, - оборвал ее Цыпышев, - сейчас собрание проводить надо. Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

Иван Коноплев при этом крикнул, и Цыпышев вновь почувствовал неловкость, неуверенность в себе и робко оглянулся вокруг, будто просил извинения за свои слова. Но все промолчали. Тогда голос Цыпышева окончательно приобрел твердость и властность. Что произошло? Борода его расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них появился живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы. К уборщице Марфе Цыпышев обратился уже тоном приказа:

- Ты, Марфа, выйди! Мы тут партийное собрание проведем. Говорить будем.

И Марфа словно почувствовала происшедшую перемену, - она не ослушалась, не заворчала.

- Говорите, говорите. Разве я не понимаю. Выйду.

Когда за притихшей Марфой тихо закрылась дверь, Цыпышев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии, и даже тем же сухим, строгим и словно бы заговорщическим голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:

- Начнем, товарищи! Все в сборе?

Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодейственного механизма: все в избе начало преобразовываться до неузнаваемости - люди, и вещи, и, кажется, даже воздух.

Щукин и Коноплев бесшумно отодвинулись от стола. Петр Кузьмич остался сидеть, где сидел, только подобрал наполовину свалившийся с плеч брезентовый плащ и положил его в сторону, на лавку. Учительница Акулина Семеновна еще больше втянулась в угол под радиоприемник. Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди приготовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.

- Все в сборе? - повторил Цыпышев, оглядывая присутствующих,

словно их было по крайней мере не один десяток.

А было их сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро.

Животновод Степан Цыпышев оказался секретарем парторганизации. В секретари его избрали недавно по рекомендации райкома. Польщенный этим, Цыпышев старался как можно лучше исполнять свою роль и, будучи человеком неискушенным, невольно начал во всем подражать «хозяину района». Правда, иногда он сам иронизировал над собою, но всякое указание сверху исполнял все же с таким рвением и с такой буквальностью - все из робости допустить какую-нибудь ошибку, - что порой не хуже было бы, если бы не всякая спица ставилась им в колесницу. Присутствовавший при избрании Цыпышева зональный инструктор райкома партии пошутил, что у товарища Цыпышева есть немало достоинств, но есть и недостатки, главным его недостатком является борода. Цыпышев принял эту шутку всерьез, как указание, и решил про себя, что бороду и все прочие волосы с лица обязательно снимет, но пока для этого не было подходящего случая.

Петр Кузьмич Кудрявцев, одорукий, оказался председателем колхоза Иван Коноплев, как уже упоминалось, - бригадиром-полеводом. Сергей Щукин - кладовщиком.

С тех пор как Щукина поставили кладовщиком, а его предшественник снялся с учета в связи с переходом на работу в сельпо, рядовых колхозников в парторганизации не было. Акулина Семеновна - та уж совсем из интеллигенции, хотя была своя, односельчанка, и во всем зависела от правления колхоза.

- Первое слово по ходу дня предоставляю председателю нашего колхоза товарищу Петру Кузьмичу.

Кудрявцев Петр Кузьмич встал.

Цыпышев сел.

Партийное собрание началось.

И началось то самое, о чем с такой откровенностью и пронизательностью только что говорили члены партийной организации, в том числе и сам секретарь ее, понося казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах.

- Товарищи! - сказал председатель колхоза. - Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю,

что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне - на это нам указали в райкоме и в райисполкоме...

Учительница осторожными, крадущимися движениями рук, чтобы никому не помещать, снова повязала голову платком, лица ее не стало видно, и о чем она сейчас думала, никто бы сказать не смог.

А Щукин опять заулыбался. Он достал из кармана вечное перо, повертел его в руках, затем вынул расческу, посмотрел сквозь нее на лампу, тихонько дунул на зубья и положил расческу обратно, причесываться не стал. Лицо его расплывалось все шире и шире, а в глазах засветился лукавый издевательский огонек. Казалось, вот-вот Щукин снова расхохочется. Но он не расхохотался и только толкнул в бок Коноплева и шепнул ему:

- Видел, что делается? Узнаешь ты его сейчас?

Коноплев тоже улыбнулся, но криво, недобро.

- Ладно уж, не мешай. Так надо, Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход.

- А правда как?

- Правда - она свое возьмет. Она, брат, скоро дойдет и до нас, она прогремит. Дождемся!

- До точки ведь докатимся.

- Не докатимся.

И Коноплев потянулся к столу, придвинул к себе горшок и курил, курил... Кашлять он не решался, крепился, хотя в груди все клокотало и свистело.

Кудрявцев Петр Кузьмич говорил недолго. Суть его доклада сводилась к тому, что боеспособность партийной организации район поставит под сомнение, если план севооборота колхоза, составленный для следующего года, не будет исправлен немедленно и безоговорочно, согласно указаниям райкома и райисполкома. С этим согласились все выступавшие в прениях. Иначе было нельзя.

А в прениях выступали и Акулина Семеновна, и Щукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания:

правда, сейчас согласованность и единодушие проявлялись несколько в ином, можно сказать, обратном значении.

Цыпышев был удовлетворен сплоченностью коммунистов и по второму вопросу выступал сам.

Как-то зональный секретарь райкома партии обратил внимание на то, что в колхозе не развернута политико-воспитательная работа, и о соответствующих фактах сообщил докладной запиской первому секретарю райкома.

- Лучших мы, товарищи, не поощряем, - говорил в связи с этим Цыпышев. - Отсталых не наказываем, соревнования нет. Посмотрите хотя бы на нашу красно-черную доску - картина ясная. Надо возглавить массы, товарищи! Думаю так: наметить для премирования несколько объектов, для этого на каждом объекте подобрать одного-двух человек... А кое-кого штрафануть, чтобы в обе стороны правильно было... В райкоме нас одобряют...

Собрание единогласно постановило выделить пять человек на премию, трех на штраф. Разговор возник только о том, на каких объектах надо искать людей для поощрения, на каких - для наказания.

- Давайте подумаем, - предложил Цыпышев. - Вот, скажем, за постройку скотного двора как будем? Премировать?

Решили штрафовать.

Ни одной резолюции написать не успели - вернулась Марфа, чтобы прибрать и запереть контору. Петр Кузьмич предложил составление резолюций поручить секретарю.

- Ты напиши, знаешь как, - шептал он, довольный, что собрание подошло к концу: - «В обстановке высокого трудового подъема по всему колхозу развертывается...»

- «По всей стране...» - подсказал Шукин.

Домой собрались быстро, и похоже, что у всех на душе было ощущение исполненной обязанности и в то же время неловкости, недовольства собой. А на крыльце уже застучали сапоги, в дверях появилась молодежь.

- Вовремя мы подошли? - спросил один из тех двух пареньков, которые заходили в контору раньше.

- Вовремя! - ответил Петр Кузьмич. - Самое время. Вваливайтесь, ребята, все.

В избу ворвался прохладный воздух с улицы. Огонек в лампе ожил, задвигались табуретки. Открыли окно.

- Ну и дыму у вас! - шумели девушки.

Акулина Семеновна с появлением молодежи выпрямилась, сбросила с головы платок. Это были люди ее возраста, с ними она чувствовала себя свободнее.

Заходил по кругу и Сергей Шукин - затянул потуже галстук и уже не покидал девушек.

Включенный приемник неожиданно заговорил громко и чисто. Передавались материалы о подготовке к двадцатому партийному съезду. Это сообщение прослушали все.

Петр Кузьмич, словно подобрев, перед уходом сказал Акулине Семеновне:

- Дрова подвезут, ты не беспокойся, распоряжусь.

А Цыпышев подошел к Сергею Шукину и сжал ему руку повыше локтя:

- Остаешься тут?

- Остаюсь.

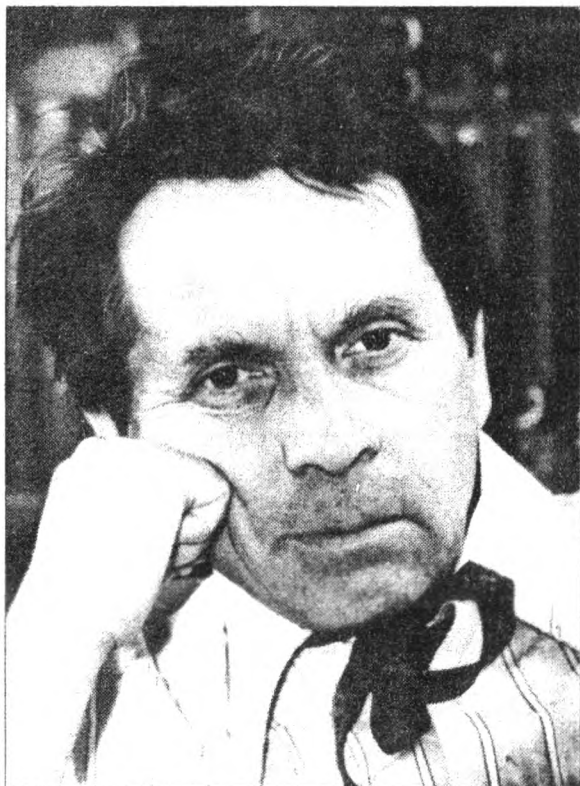
- Ну, следи, чтобы ничего такого...

Когда председатель колхоза Петр Кузьмич Кудрявцев и полевод Иван Коноплев шли из конторы по темной грязной улице, возобновился разговор о жизни, о быте, работе - тот самый, который шел до собрания.

- Теперь что двадцатый съезд скажет! - то и дело повторяли они.

И снова это были чистые, сердечные, прямые люди. Люди, а не рычаги.

Федор Абрамов



Семь верст до небес

Из воспоминаний об Александре Яшине

Я должен, я обязан написать о нем, потому что многие ли еще так знали этого человека, как я?

Но, боже, как тяжело, как трудно писать об Александре Яшине! Неужели оттого, что и сама-то дружба наша была тоже тяжелая и трудная, то вскипавшая шумно и радостно, как весенний ливень, то опять месяцами тлевшая и чадившая дымной головешкой, уцелевшей от большого костра?

Да, мы начали с пламенной дружбы, прямо-таки взаимного обожания, а кончили отчуждением, чуть ли не враждой, через которые, к великой горечи моей, мы не смогли полностью перешагнуть даже в самые последние дни поэта.

I.

Нас с Александром Яшиным свели литературные невзгоды. В ноябре 1962 года Яшин опубликовал в «Новом мире» свою знаменитую «Вологодскую свадьбу», а месяцем позже, в январском номере «Невы» за 1963 год, появилась моя повесть, или, как тогда больше называли ее, очерк «Вокруг да около».

Произведения эти, разные по письму, по содержанию, были продиктованы одним чувством - привлечь внимание к трудным и острым проблемам деревни. Ни малейшего лака. Ни малейшей подсветки. Честный и откровенный разговор о реальной жизни, о наболевших вопросах в развитии сельского хозяйства.

К сожалению, вот эта-то обнаженность далеко не всем пришлась по душе. Нам с Яшиным было нелегко, и вполне понятно, что мы потянулись друг к другу.

Дело было, кажется, так. Желая хоть как-то поддержать товарища по несчастью, мне в мартовском номере «Звезды» за 1963 год удалось напечатать рецензию на его повесть «Сирота», которая в 1962 году была опубликована в журнале «Москва».

Яшин рецензию заметил и тотчас же откликнулся на нее письмом. Между нами завязалась переписка, а затем - это уже было в августе - Яшин пригласил меня на Вологодчину, в свои родные края, где он в то время жил с женой и младшим сыном.

Я не долго раздумывал. Уж очень хотелось посмотреть на смельчака, накатавшего «Вологодскую свадьбу», а еще незадолго до этого нашумевшего рассказом «Рычаги», - произведением, быть может, не безупречным в художественном отношении, но поразительным по силе разоблачения бездушного бюрократизма (Яшина-поэта в то время я почти не знал).

Должен сказать, что на мою родину попадать нелегко - таежная деревня в четырехстах километрах от ближайшего города, а к Яшину попадать и того труднее. Сперва поездом по Кировской дороге до станции Шарья, потом укачливой поползухой «Аннушкой» до райцентра,

бывшего уездного города Никольска, а от Никольска километров тридцать на машине - полями, деревнями, разомлевыми на августовской жаре невеселыми ельниками. Кстати, последний отрезок пути очень поэтично описан Василием Беловым в очерке «Бобришный угор» и совершенно неподражаемо, предельно просто и лаконично - самим Яшиным:

*Я из тех самых мест,
Где семь верст до небес,
И все лесом и лесом.*

Блудново, родная яшинская деревня, поначалу меня разочаровала. У нас, на Пинеге, деревни стоят на всхолмьях, на крутых угорах, красных и белых щельях по-нашему, да непременно поблизости от реки, да чтобы просторы и огляды вокруг на целые версты были, а тут, смотрю, небольшая деревенька в низине, в темных дремучих ельниках - ни дать ни взять, заблудилась.

Единственное, что, помню, несколько примирило меня с нею, - это белые разливы высокой, хорошо уродившейся ржи на полях возле Блуднова да зеленая травка-муравка во всю улицу, которая придавала деревне какой-то удивительно сказочный, патриархальный вид.

Дом Яшина, просторный, еще добротный пятистенок с вышкой, с боковой избой-зимницей, очень похожий на наши пинежские постройки, оказался едва ли не самым лучшим домом в деревне, - чувствовалось, что покойный хозяин его, отчим Яшина, был в свое время далеко не последним человеком среди своих земляков.

Самого Яшина дома не было, он жил в своем новом домике на знаменитом ныне Бобришном угоре, на даче, как выразилась его старая мать, и добрейшая, бесхитростная сестра Яшина - Александра, или Саня, как все, и взрослые, и малые, зовут ее в семье Яшиных, хотя у этой Сани к тому времени был уже свой внук, проводила меня за деревню.

- Тут рядом, - сказала она, неопределенно махнув рукой в сторону леса, - все тропкой да тропкой, в саму избу и упрешься.

«Рядом», однако, оказалось мерой северной. Я добрых два километра шлепал болотом, гулом гудевшим от комарья, скакал с одного старого, прогнившего бревешка на другое, и надо ли говорить, что я на все лады клял своего будущего друга. Ведь это же специально придумывать, так не придумать - чтобы в такую болотину да сырь с новым жильем

залезть.

А кроме того, во мне все кипело еще из-за встречи, которой он облагодетельствовал меня. Ведь я-то как себе представлял? Едва я вывалюсь из самолета, как меня тотчас же подхватят его надежные руки, и уж, конечно, у меня не будет никаких забот с транспортом. А вместо этого мне пришлось идти на поклон в райком (там, ради справедливости надо сказать, у Яшина была договоренность насчет машины), а сейчас даже тащиться пешком, да по болоту, по этим редким и ненадежным мостовинам, тогда как я после второго ранения на фронте и на твердой-то земле не очень уверенно стою на ногах.

Зато уж когда я выбрался из этого болота да глянул вперед, у меня дух захватило от восторга. Хотя что я увидел особенного? Избу под белоствольными березами. Но какая это была изба! Изба-невеста, изба-солнце! Новехонькая, молодцеватая, сложенная из свежего соснового кругляша, она ослепительно, алмазно сверкала смолой и вся сияла радостью, счастьем. И недаром Яшин так самозабвенно любил ее, недаром из-под его пера вылились эти удивительные строки:

Завихряется стружка.

Пахнет ягодным бором.

Вырастает избаушка

Над Бобришным угором.

В получасе шаганья

От деревни Блуднова

Жизнь моя, как сказанье.

Начинается снова.

Яшины и на этот раз не вышли ко мне навстречу. «Мы ушли в лес. Кричите», - прочитал я в записке, прищипленной к столику возле избы, к которому чуть ли не вплотную подступал ароматный, с красными листьями земляничник.

Я долго сидел у этого столика, наслаждаясь красотой избы и мягким, убаюкивающим шелестом берез. Потом встал, прошел за избу.

Молодой сосновый бор, жердняк на крестьянском языке, высланный серебряным ковром беломошника. Вышел на передки избы, и картина, которую я увидел внизу под угором, оказалась еще краше. Широкие разливы зеленых лугов, за лугами лесистая гряда, упирающаяся в синее небо, и оттуда, из-под гряды, весь заросший седым ивняком, выкатывался

Юг-река, которую я знал еще со школьных лет и которая тут, под Бобришным угором, вогнувшись подковой, выглядела маленькой неказистой речонкой.

Меж тем время шло, изба от вечернего солнца стала алой, а хозяев все не было и не было. Я начал кричать.

И вот чудо: тотчас же снизу, с луга, совсем-совсем близко от избы, донеслись голоса - радостные, звонкие на вечерней заре.

Первым в угор влетел светлоголовый десятилетний сын Яшина - Миша, потом я увидел Злату Константиновну, хозяйку, сияющую, романтически - восторженную, голубоглазую, с охапкой пестрых цветов, потом, спустя немалое время, в угор поднялся и сам Яшин - бледный, тяжело, открытым ртом дыша, но победно улыбающийся, открыто, по-мальчишески радуясь и встрече, и лесной находке - матерой клюке-палице, на которую он опирался.

Лесная прогулка совершенно вымотала Яшина, и он, все еще запаленно дыша, потянулся к скамейке возле столика.

Меня немало удивил облик Яшина, который показался мне не очень деревенским, да, пожалуй, не очень и русским. Большой, горделиво посаженный орлиный нос (у нас такого по всей Пинеге не сыщешь), тонкие, язвительные губы под рыжими, хорошо ухоженными усами и очень цепкий, пронзительный, немного диковатый глаз лесного человека, но с усталым, невеселым прижмуром...

Первое время разговор не клеился и мы больше работали глазами, так и эдак приглядываясь друг к другу, потом Злата Константиновна накрыла на стол (жареные утки, настрелянные самим Яшиным), появился коньячок, и лед тронулся. А каких-нибудь десять-пятнадцать минут спустя мы уже выкладывались друг перед другом сполна.

Разговор, конечно, в первую очередь забурлил вокруг наших литературных дел. Яшин тяжело переживал проработочную бурю, разразившуюся над ним. . .

- А за что, собственно, такая немилость? За то, что человек честную вещь написал? . .

Потом, чтобы посылнее уязвить меня, вдруг перешел на официальное обращение:

- Вам, дорогой Федор Александрович, можно предаваться благодушию, у вас не семеро по лавкам, да и жена, как мы слышали,

доцентик, а мне надо свой «колхоз» обеспечивать своевременной выдачей на трудодни. Ежедневно! - жестко добавил он.

- Но сейчас, Саша, когда мы на подножном корму, можно не думать об этом каждую минуту.

- Во-во! - с ухмылкой ответил жене Яшин. - Давай пригоним сюда на грибы да на ягоды весь наш колхоз - это ты хочешь сказать?

- А хорошо бы! - воскликнула, запишись, Злата Константиновна.

- Сентименты, сантиметы, матушка!

Мне стало жаль Злату Константиновну, которая, как мне показалось, просто погасла под суровым взглядом мужа, и я решил перевести разговор на местные красоты, на окрестные леса, которые сейчас чудно горели в красном пламени вечерней зари.

Яшин отрубил:

- Леса здешние, между прочим, в этом году пустые. В них сейчас ничего не растет.

- Ну как же, Саша, - подала опять голос Злата Константиновна.

- А грибы? Мы же полкорзины насобирали.

- Во-первых, в этой полкорзине половина гнилых, и их надо немедленно выбросить, а во-вторых, матушка, мы с тобой не в московском салоне, а в деревне. А в деревне десяток обабков, собранных втроем за четыре часа, за грибы не считают.

Я начал расхваливать Бобришный угор - ну, думаю, тут-то уж Яшин подбодрит.

Не подобрел. Хмуро, не поднимая глаз от стола, бросил:

- Неплохое место для будущей могилы.

- Ну что за шутки, Александр! - возмутилась Злата Константиновна и стала подзывать с реки сына, который убежал туда почти сразу же после возвращения из леса, как только утолил немного голод, - ведь он был еще ребенок, и ему хотелось продемонстрировать гостю свои рыбацкие способности.

Кажется, сам дьявол вселился в Яшина, ибо через какую-то минуту, когда далеко за лесной грядой затихло эхо перекатывающихся голосов, он упрямо сказал:

- Здесь, возле стола, лягу.

Помолчал, исподлобья сверля нас своим бешеным ястребиным глазом, не терпящим возраженья, и уточнил деловито, по-крестьянски

очертив рукой полукружье:

- Вот тут, на этом месте, вырыть могилу.

Мы со Златой Константиновной со страхом переглянулись. И тут Яшин, поняв, видимо, что хватил через край, натужно усмехнулся:

- **Что, напугал?**

В бутылке оставался еще недопитый коньяк. Яшин разлил его по стаканам, медленно выпил, смакуя, как человек, понимающий толк в этом деле, и закусил. . . таблеткой валидола. Между прочим, второй раз за вечер.

Я пошутил:

- Да вы никак, Александр Яковлевич, перешли на пищу будущего?

- я имел в виду всякие там фантастические романы, где герои обычно питаются таблетками.

Яшин колюче посмотрел на меня, но ничего не сказал.

Заря за рекой заметно размылась. В зеленоватом небе проклюнулись первые звездочки, туман подступил к самому подножью Бобришного угора, затопив весь луг. Яшин зябко передернул своими широкими, костистыми плечами, откашлялся - у него была астма - и уже обычным, глуховатым голосом предложил:

- А не пора ли нам, дорогие товарищи, на боковую?

В избу он вошел с клюкой-палицей, с той самой штуковиной, которую принес из леса, и благоговейно поставил ее к переднему простенку под портретом Льва Толстого, своего божества, косматого и даже страшного в эту минуту, пронзительно глядящего как бы из пламени (вся изба была залита красным светом) и очень похожего на лешего. Да его, кстати, как я позднее услышал, так и называли местные старухи («Изва-то бы на веселом месте, и в самой избе весело, да пошто он лешего-то вместо иконы повесил?»).

В избе с белыми сосновыми стенами, еще не успевшими пожелтеть, было тепло и хорошо пахло прогретым за день деревом, мохом в пазах и полевыми ромашками, стоявшими в консервной стеклянке из-под компота на подоконнике справа от портрета Толстого.

- Вот так и живем, - сказал Яшин совсем запросто. Но тут же съехидничал: - А у вас, поди, целый дворец, Федор Александрович?

- У меня и кола своего негу, а не то что чего другого.

- А знаете, дорогой Федор Александрович, - вдруг сказал Яшин, - мы ведь с вами, чего доброго, еще друзьями станем. Как вы на это

смотрите?

Злата Константиновна пламенно, всей душой взмолилась:

- Дай-то господи! Я очень, очень хочу, чтобы вы подружились.

Спать легли на нары, устроенные на козлах возле стены слева от дверей, и накрылись одним большим старым стеганым одеялом, явно принесенным от матери, — я помню по своему детству такие большие семейные одеяла.

Набегавшийся за день Миша уснул мгновенно. К моему немалому удивлению, довольно быстро заснули и хозяева, хотя сон у Яшина был беспокойный и тяжелый. Он постоянно ворочался, стонал и надрывно кашлял.

Ну, а что касается меня, то я и не пытался настраивать себя на сон. На новом месте я вообще трудно засыпаю, а тут столько всяких впечатлений — надо было в них разобраться. А главное — решить, что делать завтра: с утра отчаливать от Яшиных или спустить свой отъезд на тормозах. Я вот так, по горло был сыт Яшиным.

II.

Я прожил на Бобришном угоре две недели. И это были незабываемые дни.

Нет, нет, Яшин не стал ангелом на другой день. Едкая насмешка, злость и желчность, резкие перепады в настроении, даже грубость, даже жестокость - все это осталось. И с ним было нелегко - того и гляди, ужалит. А с другой стороны, сколько в этом человеке было доброты, детской доверчивости, истинного бескорыстия и благородства, русской удали и русского озорства!

Существует мнение, что русский национальный характер по своим качествам является характером полярным, характером противоположностей. Так вот, Яшин - ярчайшее подтверждение. И надо ли говорить, что именно особенности яшинского характера во многом предопределили исповедальный характер его зрелого творчества, его совестливость и самосуд, не знающий никакой пощады к себе?

Но вернемся к Бобришному угору.

Яшин за ночь, видимо, неплохо отдохнул, и наутро его трудно было узнать. Ничего от вчерашнего брюзжания и раздражительности. Деятельность, лихорадочная деятельность и яшинская жадность к жизни.

За один день мы порыбачили на реке, сходили в лес, погоняли уток в озерах и старых речисах, которых немало на тамошних лугах. Право распоряжаться хозяйским ружьем было великодушно предоставлено мне, и я не буду скрывать: оскандалился - вернулся домой без пера. Но Яшин на этот раз не ехидничал.

Да по правде сказать, и некогда было ехидничать. По плану мы должны были быть в гостях у его сводной сестры, а она жила неблизко - в другой деревне.

С этого вечера началась гостьба, растянувшаяся чуть ли не на неделю. При чем гостьба, какую мог придумать только Яшин. По героям его повести «Вологодская свадьба».

Большинство этих героев были близкими или дальними родственниками Яшина, и объезд их по деревенским понятиям был делом нормальным.

Но что меня всякий раз коробило? Яшин, нимало не стеснясь их присутствия, начинал вслух просвещать меня, кто из них какую роль играет в повести, давая при этом далеко не всегда лестные характеристики.

Некоторых «прототипов», особенно поддавших мужиков, это забавляло, и они еще сами подкидывали подробности, упущенные автором при описании свадебного обряда.

Другие, как сестра Яшина Мария и ее однорукий, но работающий муж, вежливо отмалчивались, и только когда Яшин уж слишком яростно, что называется по-яшински, начинал воспитывать своего шурина, который и одной рукой неплохо молотил свою покорную жену, тот, виновато улыбаясь, вставал и выходил из избы.

Но бывало и не так гладко. Раз приехали мы на льнозавод, где жили главные герои «Вологодской свадьбы» - племянница Яшина Галя, та самая Галя, которая пригласила его на свадьбу, и обожаемый ею жених, теперь уже муж, долговязый Петр Петрович.

Яшин на крыльце дома меня предупреждает:

- Наберитесь терпенья, дорогой Федор Александрович. Тут подольше придется задержаться: главные герои!

А у этих главных героев мы и полчаса не пробыли.

Сухо, неприязненно встретили. Как чужих. Даже чашки чая не предложили, что по деревенским обычаям равнозначно чуть ли не оскорблению.

Яшин был убит совершенно. И когда мы вышли на улицу, он только руками развел;

- Ничего, ничего не понимаю. За что они меня так? Что я сделал им плохого? Да я в трубу вылетел из-за ихней свадьбы!

- Бывает, - сказал я, и в душе подивился яшинской наивности.

А как? «Прославил» своих земляков на весь свет, и еще хочет, чтобы его благодарили. Да для иного деревенского жителя всякая популярность, выделяющая его из общей массы, просто невыносима. Я помню, как однажды моего племянника, тогда еще подростка, отличившегося на сенокосе, приехали фотографировать для районной газеты. Так что он сделал? Убежал из дому...

И тут начался у нас нервный и болезненный для обоих разговор о земляках, о взаимоотношениях писателя с земляками, которые, увы, далеко не всегда поддерживают его в борьбе за правое дело.

Кончился этот день взрывом, разоблачительными речами Яшина, которые были так хорошо знакомы близко знавшим его. Причем что удивительно? Жертвой их стал один работник райкома, давний его товарищ, который искренне любил его и помогал ему, чем мог. Но таков уж был Яшин: на близком-то человеке он нередко и отсыпался

Мне, не знавшему тогда этой слабости за Яшиным, было дико все это слышать, но хозяин и не думал сердиться на гостя.

В разъездах по гостям, по знакомым и близким мы провели, как я уже говорил, чуть ли не неделю. А потом как-то встретили на одной из улиц Никольска Вадима Каплина, молодого сотрудника районной газеты, влюбленного в Яшина, и нас захватила страсть - медвежья охота.

Дело в том, что этот самый Вадим Каплин, такой же пылкий романтик и патриот своего края, как Яшин, в прошлом году убил на овсах медведя (его в городе так и звали теперь Вадим-медвежатник), и, когда мы закатились к нему домой, он прежде всего продемонстрировал нам медвежью шкуру, живописно раскинутую на полу гостиной.

И это решило все. Яшин с той минуты, как увидел эту медвежью шкуру, уже и думать пи о чем не мог. Да и я загорелся: у нас, на Пинеге, слыхом не слыхали о медвежьей охоте на овсах. И как же упустить подвернувшийся случай?

Сборы были, как все у Яшина, скоропалительными. Не прошло и

двух часов после нашей встречи с Каплиным, как мы уже тряслись в его драндулете.

Драндулет этот только с величайшей натяжкой можно было назвать машиной. Он был собран из немыслимого разнокалиберного старья, так что даже знаменитая «Антилопа Гну» по сравнению с ним казалась верхом технического совершенства, и я не сомневался, что он рассыплется еще на улицах Никольска. Но Каплин, великий оптимист, был уверен в своем козлике (так он любовно называл своего рысака). И вот мы благополучно, правда под насмешливые и удивленные взгляды уличных зевак, миновали город, въехали в лес, а драндулет, то и дело чихая и извергая целые тучи вонючего смрада, все тянул и тянул. И так без особых приключений мы добрались до одной деревни (кажется, она называлась Широкое), а оттуда вместе с местным учителем-стариком уже пешком отправились на лесной починок.

Я не буду вдаваться в подробности, связанные с нашей длинной и нелегкой дорогой, большей частью пролежавшей через комариное сыролесье, дорогой, напрочь размолотой тракторами и машинами. Не буду также говорить и о своем крайнем удивлении, когда мы вошли в поля. На добрых полкилометра овсы в одну сторону, в другую, а за овсами, на пригорке у леса, освещенные вечерним солнцем крыши домов (штук пять я насчитал) - да какие тут могут быть медведи! Или на Вологодчине и медведи особые?

Каплин не стал сорить словами, а взял меня за руку, завел в овес и молча ткнул рукой в землю. Огромная куча медвежьего помета, и довольно свежего, сплошь покрытая толстым слоем шевелящейся мошкары.

Дальше признаков пребывания медведей на полях оказалось еще больше - овсы были сплошь выброжены, а кое-где и скатаны как войлок, и мы притихли.

Медведя, выражаясь словами одного стихотворения Яшина, мы не убили, хотя все было: было сиденье на вечерней заре на лабазах, ерундовых дощечках, кое-как прикрученных проволокой к стволам осин и берез кем-то из наших предшественников, было кормление комаров (зажрали, сволочи!), было терпение. Одного не было - веры, веры в то, что выйдет медведь. Потому что ведь где охотимся? В деревне!

Каплина и старого учителя это не удивляло, они здесь бывали

раньше, а мы с Яшиным были потрясены. В сущности, мы впервые вот так столкнулись вплотную с тем, что позднее, через десять лет, будет названо второй целиной, русским Нечерноземьем.

Уже ночью в полной темноте и тумане, по пояс мокрые (нам таки немало пришлось побродить в отсыревших овсах), мы вышли наконец к нежилым, заброшенным домам, разожгли костер, и, помню, Яшин долго и онемело стоял, вглядываясь в высветленные огнем бревенчатые стены с черными провалами выбитых окон, и слезы текли по его рыжим небритым щекам.

III.

Наша дружба продолжалась без мала четыре года. Были письма, были встречи, были разговоры и споры о жизни, о литературе и, конечно же, о нашей матери - деревне.

Яшину легко давалась переписка. В своих письмах он запросто, без всякой натуги и со свойственной ему откровенностью посвящал меня в свои повседневные дела и быт, очень неустроенный, материально не обеспеченный, делился замыслами литературных произведений, главным образом прозаических, - а их у него, этих замыслов, была уйма, и часто присылал свои новые, еще не напечатанные стихотворения, требуя честного и нелицеприятного отзыва.

К стыду моему, я не всегда оказывался на высоте. Некоторые стихи мне определенно не нравились своей излишней прямолинейностью и притчевой назидательностью, но сказать об этом прямо у меня не хватало духу, и появлялась уклончивость и витиеватость, которая раздражала нас обоих.

Яшин же, когда дело касалось искусства слова не делал ни малейшей скидки ни на приятельские отношения, ни на авторитеты. Тут он был беспощаден и неподкупен. Помню, послал я ему четыре рассказа, над которыми работал чуть ли не целый год. Принял он безоговорочно только один - «Медвежью охоту», или «Дела российские», как теперь он называется. Что же касается трех других, кстати сказать, тогда же напечатанных в одном журнале, то он их просто отверг как вещи малохудожественные.

Вообще нужно сказать, что письма к Яшину мне давались не без мозолей, и гут, возможно, известную роль сыграла неопределенность наших отношений - мы долго обращались друг

к другу то на вы, то на ты.

Встречались мы нечасто, главным образом в Москве, куда я изредка наезжал. Яшина в то время не без скрипа, но в некоторых журналах все же печатали, по крайней мере его стихи. И он, как товарищ и друг, все делал, чтобы поскорее была снята епитимья за «Вокруг да около» и с меня. Он знакомил меня с московскими литераторами, при этом всякий раз расхваливал меня как писателя, водил в редакции некоторых журналов и издательств, и наконец благодаря его стараниям в июне 1964 года меня пригласили в Краснодар на выездной пленум Союза писателей РСФСР по вопросам литературы и сельского хозяйства.

Краснодарская общественность встретила меня неприязненно - разносной статьей. Яшин просто клокотал по этому поводу, а потом вдруг махнул рукой:

- Да бросьте вы переживать из-за этой хреновины! .. Пойдемте, лучше я вас познакомлю с Василием Беловым.

Я озадаченно заводил глазами. Яшин вознегодовал:

- Как? Вы Василия Белова не знаете? Да он один стоит всего нынешнего совещания! Ей-богу! - И тут он с жаром, прямо-таки взалбстал рассказывать про своего молодого земляка из Вологды, звезда которого еще только-только начинала всходить.

Вскоре мы уже втроем сидели в ресторане гостиницы, и тут вдруг выяснилось, что я Василия Белова знаю. Во-первых, запомнилось его письмо по поводу моего первого романа «Братья и сестры», который они читали всей семьей и в котором увидели самих себя, свою безотцовщину, а во-вторых, - бывает же такое! - в первом номере «Невы» за 1963 год, в том самом номере, где напечатана моя злополучная повесть «Вокруг да около», напечатан был и рассказ Василия Белова «Люба-Любушка». Кстати сказать, по поводу этого рассказа Белов прислал мне письмо и просил высказать свое мнение.

Я прочитал рассказ. И, увы, он не показался мне из ряда вон выходящим. Мягко, лирично написан. Хороши пейзажи. А в целом довольно традиционен и даже пересахарен, что у меня в те годы вызывало самый решительный протест. Короче, в то время я скорее голову бы дал на отсечение, чем поверил бы, что автор «Любушки» через каких-то пять лет напишет «Привычное дело», повесть, которая сразу же станет славой и гордостью нашей литературы. А вот Яшин сумел

разглядеть в Белове талантливого прозаика, когда тот еще писал стихи.

Совещание «деревенщиков» в Краснодаре прошло не без пользы. По крайней мере, благодаря ему многие из нас, и в том числе я, сумели побывать в кубанских колхозах, которые по своей экономике, по оплате труда колхозников так разительно отличались от колхозов средней и северной России, что некоторые ораторы в своих выступлениях уже не называли иначе Кубань как землей, где воочию «взошло солнце коммунизма».

Как я уже говорил, характер у Яшина был совсем не идеальный. Да и у меня, прямо скажем, не сахарный. И искры от нас начали сыпаться чуть ли не с первого дня. Дело дошло даже до того, что в день моего отъезда из Никольска Яшин не поехал провожать меня на аэродром. Это своего-то гостя, первого, как не раз провозглашалось, друга! Правда, минут за десять до вылета самолета он все же, весь взмыленный и с покаянным видом, примчался на аэродром, и мир был немедленно восстановлен. Но бывали ошибки и более затяжного порядка. Ну, а настоящая гроза меж нами разразилась году в шестьдесят пятом, когда однажды Яшин приехал ко мне в Ленинград с ответным визитом, а заодно и по делу: не удастся ли тут, в Ленинграде, хоть как-то поправить свои финансовые дела - запродать какому-либо журналу новый рассказ или стихи.

По поводу такого события я, можно сказать, разработал целую программу, и коронным номером этой программы должен был стать роскошный обед у моего приятеля, жена которого была непревзойденным кулинаром.

И вот я, заранее одетый в парадный костюм, с праздничным настроением в душе, сижу дома и жду Яшина, с тем чтобы в два часа, как было условлено, отправиться вместе на обед. Наступает два часа - Яшина нет, наступает полтретьего, три - Яшина все нет. Я в отчаянии - случилось что-нибудь?

Приятель, вполне понятно, тоже нервничает: обед переставляется. И вообще высказывает всякие догадки: дескать, транспортабельны ли вы? Может, мне самому подъехать за вами?

Наконец в полчетвертого звонок от Яшина:

- Не жди на обед. Не приду.

- Как не придешь? - с трудом выговариваю я.
- Понимаешь, встретил одну землячку, с конторой давно хочу выяснить отношения... - И знакомый, хриловатый смешок.
- В таком случае, - взрываюсь я, - я больше знать тебя не знаю!
- И с размаху бросаю трубку.

Позже, конечно, я не раз казнил себя за свою безрассудную вспыльчивость (сколько раз она меня в жизни подводила!), да и у Яшина-то, как потом оказалось, была самая безобидная, действительно неотложная встреча, но с этой поры мы надолго закусили удила.

Нас пытались помирить знакомые, наши жены. Между прочим, моя жена и тогда считала и до сих пор считает, что ссора у нас вышла. . . из-за ножа, который я подарил Яшину. Дело в том, что на Яшина, человека, всегда чем-либо увлеченного, в то время напала очередная страсть, или, как говорила Злата Константиновна, «новая болезнь» - коллекционирование холодного оружия. Мне, например, он писал: «Собираю всякое холодное оружие от сапожных и даже перочинных ножей до сабель, шпаг, пик и т. д. Если у Вас есть что-то, подарите мне, ради Христа».

Я послал ему довольно любопытный, с секретом нож-складень, выкованный вятскими мастерами. И вот этот-то нож, если верить народной примете, которую мне напомнила жена, и развел нас с Яшиным. Как бы то ни было, но после того как я под каким-то предлогом сумел обратно забрать этот разнесчастный нож, в отношениях между нами и вправду стали появляться просветы.

Тому способствовали немало и жизненные обстоятельства. У Яшина трагически погиб старший сын-юноша, и мог ли я не принять это страшное горе в свое сердце? С другой стороны, в июле 1966 года случилось несчастье со мной в Архангельске (микроинфаркт), и вот уже Яшин готов всем пожертвовать ради меня: «Только отзовитесь, поманите пальцем - и я приеду, чтобы посидеть около Вас».

Но... это были все же отдельные порывы, благородные порывы, идущие больше от благодарности к прошлому, но самого этого прошлого вернуть уже было нельзя.

IV.

- А ты знаешь, что Яшин безнадежен?

- ???

- Да, третью операцию недавно перенес.

Ныне, услышав что-либо в этом роде, я бы немедля, в тот же день бросился в Москву. А тогда, в июле шестьдесят восьмого, помнится, прошло дней пять, прежде чем я решился на поездку. Потому что очень уж страшно было мне, здоровому человеку, вдруг явиться к умирающему другу, пусть и другу в прошлом.

Палата, в которой лежал Яшин, была просторная, вся в солнце, в цветах, и потому особенно тяжело было увидеть его неподвижным, словно распятым на узкой больничной койке, стоявшей посреди палаты.

Избегая глядеть на больного, мы с Александром Михайловым - у меня так и не хватило духу заявиться одному - пролепетали какие-то слова приветствия и смущенно присели на краешек табуреток возле дверей.

Яшин молчал.

Злата Константиновна, уже сколько недель неотлучно жившая при нем в больнице, с преувеличенной живостью начала было рассказывать о подарке земляков - маленькой сосенке с Бобришного угора, присланной в глиняном горшке с родной землей, но Яшин с укором посмотрел на жену, и в палате опять наступило тягостное молчание.

Выручила, как всегда, литература-матушка: Михайлов решил познакомиться Яшина с наиболее интересными публикациями в последних номерах журналов, однако Яшин и к этому остался безучастен.

- А роман-то Федора Александровича читали? - вдруг спросил Михайлов.

Я весь внутренне вздрогнул: что-то сейчас скажет Яшин о моих «Двух зимах и трех летах»? Ведь роман был напечатан в первых номерах «Нового мира» за этот год, когда он еще был относительно здоров, и едва ли он не проявил к нему никакого интереса.

Яшин не ответил. И только когда разговор зашел о Василии

Белове, его духовном сыне, глаза его, очень строгие, отрешенные, чем-то напоминавшие глаза святых с фресок Феофана Грека, на какое-то мгновение, мне показалось, посветлели.

Приободренные этим проявлением жизни, мы с Михайловым вспомнили о бутылке шампанского, купленной по дороге, и быстро, но бесшумно раскупорили.

Отпив шампанского, Яшин попросил у жены специально сваренную для него картошку в мундире.

Бледными-бледными руками он сам очистил картошку, посыпал солью и, по-крестьянски поддерживая у подбородка сложенную ковшиком руку, начал медленно жевать. Скоро, однако, он отложил картошину:

- Деревянная какая-то... Уже и картофельного вкуса не ощущаю...

Яшина всегда, сколько я помню, отличала повышенная чистоплотность, и тут он не изменил своей привычке: тщательно вытер платком рот, затем начал было подправлять свои рыжие, за время болезни заметно поредевшие усы и, не закончив этого занятия, погрузился, надо полагать, в свой новый, открывшийся ему в дни болезни, мир. ..

Я не помню, как мы прощались с Яшиным. Помню только, что у меня было большое чувство вины перед ним, чувство вины живого человека перед умирающим, и что мне очень хотелось по русскому обычаю попросить у него прощения.

* * *

Александр Яшин умер пятидесяти пяти лет, в расцвете духовных сил, своего яркого дарования,

Одна за другой выходили книги его стихов, и каких стихов! Неповторимо самобытных, яшинских, то обжигающих своей раскаленной гражданственностью и исповедальностью, то необычайно душевных и сердечных, раскрывающих самые сокровенные тайны природы, лесного царства. А сколько осталось неосуществленных замыслов в прозе, где он за короткое время утвердил себя одним из крупнейших и многообещающих писателей.

Его кабинет напоминал мастерскую столяра, заваленную всевозможными заготовками. Будущие романы, будущие повести, будущие рассказы и очерки. .. Одни - лишь болванки, по которым

прошелся только топор, другие знакомы уже были с рубанком и стамеской, а над третьими даже потрудился царь столярных инструментов - фуганок.

Природа наделила Яшина могучим организмом. Но жизненные перегрузки: война, ленинградская блокада, откуда его вывели полуживого, мучительные и затянувшиеся поиски себя как художника, трагическая смерть сына-юноши, хроническое безденежье последних лет - не слишком ли много всего этого для одного человека? А яшинская неуравновешенность и неистовость, его постоянные метания - разве эти свойства его натуры не надорвали душу?

Но и то сказать: живи Яшин вне бурь и страстей своего времени, веди он размеренный и уравновешенный образ жизни, - словом, не гори каждодневно на огне, как он сам писал о себе, разве был бы он тем, что есть? Разве сегодня в нашей литературе пылал бы его костер?

Яшина похоронили на его любимом Бобришном угоре, которому суждено было стать поэтическим образом всего его творчества.

1982.

«Чем живем - кормимся».
Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение. 1986 год.

Владимир Солоухин



Дорогой совести к правде...

Поэт, писатель, вообще художник формируется под воздействием нескольких сил. Во-первых, надо назвать обстановку, в которой проходит детство, а потом и юность художника. Для одного это большой город, троллейбусы, кинотеатры, городские дворы, скверы, парки, дворцы пионеров, многоэтажные дома, асфальт, камень... Для другого — природа, небольшая деревенька, река, лес, корова, птичьи гнезда, лошади, поля, крестьянские полевые работы, изба, сеновал, керосиновая лампа, удочки, пила дров, горячая печка после катания на салазках...

Понятно, что два писателя, выросшие в столь разных условиях,

будут писать по-разному.

Второй формирующей силой надо признать народ, к которому писатель принадлежит, из недр которого вышел. Бальзака не спутаешь с Тургеневым, Диккенса со Львом Толстым. Строго говоря, и родная природа, и народ формируют писателя, художника, дабы он потом, сформировавшись, изображал их в своих произведениях, рассказывал о них, воспевал их.

Сказки, песни, предметы быта, характеры людей, обычаи, обряды, праздники, игры, весь жизненный уклад у испанцев, скажем, один, у норвежцев второй, а у русских третий. Затем идут книга, любимые писатели, живописцы, история родины, ее города, архитектура, музыка, славные имена, деяния, подвиги - одним словом, все, что составляет понятия «народ» и «родина».

Третья внешняя сила - время, в которое художник живет и творит. Каждый художник, о чем бы он ни писал, так или иначе рассказывает о своем времени.

Замечательный писатель Александр Яшин (поэт и прозаик) родился и вырос в вологодской деревне, вышел из недр русского народа, жил и творил в советское время. Эти три обстоятельства определяют Яшина как писателя, его творческое лицо.

Его биография внешне ничем, пожалуй, не примечательна. Родился в 1913 году в деревне Блудново во глубине Вологодской области. Не за тремя волоками, как напишет попом его ученик Василий Белов, но, пожалуй, за семью, за пятнадцатью волоками. Ведь даже самолет (правда, двукрылый) летит от Вологды до районного городка Никольска около двух часов. В «Вологодской свадьбе» читаешь, что А. Яшину потребовалось на дорогу от Москвы до Блуднова трое суток.

Дед писателя Михайло Попов был блудновским крестьянином, но, очевидно, не бедняком безлошадником (каковых, впрочем, водилось тогда один-два на деревню), но крестьянином справным, он своей деревне даже подарил школу. Правда, среди северных лесов, когда в каждой мужицких руках - умелый топор, а лес не считан, не мерян, срубить бревенчатое просторное помещение - не такая уж, наверно, была дороговизна, но тем не менее подарок есть подарок, и подарено не что-нибудь, а ведь школа.

Своего отца Якова Михайловича Попова писатель не помнит. Его взяли солдатом на войну 1914 года, и там он погиб.

Почему же все-таки «Яшин», а не «Попов»? Некоторые биографы объясняют это тем, что писатель хотел увековечить в своей новой фамилии имя погибшего отца. Думаю, что слишком сложное объяснение. Разве, нося фамилию отца, сын тем самым не увековечивает его память? Но слово «поп» и как производное от него «Попов» были не самые популярные слова в конце двадцатых, в начале тридцатых годов. Возможно, это был первый компромисс будущего писателя в отношениях со временем, который продолжался потом почти четверть века.

Итак, внешне биография Александра Яковлевича Попова (теперь уж Яшина) не сложна. Он начинает писать стихи, печатается в районной газете «Никольский коммунар», в газетах Великого Устюга - «Ленинская смена», «Советская мысль», «Северные огни», а также в московском журнале «Колхозник». Сами названия этих печатных органов, если в них вдуматься, определяли характер стихов начинающего деревенского поэта.

Можно ли вообразить себе стихи Есенина (а тем более Блока, Гумилева, Ахматовой), опубликованными в газете «Никольский коммунар»? А. Яшин оканчивает Никольский педтехникум, некоторое время работает учителем, но его стихи уже замечены, и когда в Вологде создается оргкомитет Союза советских писателей (перед предстоящим учредительным съездом СП СССР), то Яшин становится его председателем, а затем и делегатом всесоюзного съезда. Ему в это время 21 год.

И вот там, где доклад делает Горький, а в зале (или в президиуме) сидят Леонид Леонов и Пастернак, Тихонов и Всеволод Иванов, Серафимович и Шолохов, Федин и Паустовский, Пришвин и Катаев (не будем перечислять), оказался и вологодский паренек, как написал бы М. Булгаков, рыжеватый, с бойкими зелеными глазами.

Делегат Первого съезда СП СССР! Тогда это значило очень много.

На свой Север Яшин уже не вернулся (хотя и ездил туда не ежегодно ли, потому что жить без своей деревни не мог). Дальше — Литературный институт, война, московская квартира, выходящие одна за другой книги стихов и, наконец, Сталинская (теперь Государственная) премия за поэму «Алена Фомина».

Это была высшая точка, так сказать, официального взлета поэта А. Яшина и низшая точка на его творческой синусоиде. После этой точки начался настоящий подъем, настоящий взлет, который, к великому огорчению и сожалению, не успел закончиться полностью, потому что его оборвала преждевременная смерть. После этой, упомянутой нами точки родился, укрепился и сформировался замечательный русский писатель - Александр Яшин.

Если я говорю про поэму «Алена Фомина» как про низшую точку на творческой синусоиде А. Яшина, я не хочу сказать тем самым, что она была плохо, слабо написана. Писать стихи Яшин умел всегда... «Нехудожественность этой поэмы» заключена в другом. Когда-то пишущий эти строки побывал в Вологодской области в журналистской командировке и столкнулся со следующим явлением. Там у них была передовая показательная свинарка Люскова, знаменитая на всю страну, депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда, почетный академик и т. д. и т. п.

Я действительно увидел образцовое свиноводческое хозяйство там, в вологодской глуши. Без белого халата меня даже не пустили в свинарник. Девушки сутились там все как одна тоже в белых халатах, не то лаборантки, не то ассистентки. А между тем это был единственный на всю область крохотный островок, оазис в океане полного развала сельского хозяйства. Сарай без крыш (солома скормлена скоту), коровы, стоящие по брюхо в навозной жиже, телята, подыхающие с голоду и облепленные мухами, коровы, подвешенные на веревках, ибо не могли уже стоять... «Да что же это за гений такой, - подумалось мне тогда, - эта Люскова, что сумела среди такой черноты и разрухи создать свой белоснежный оазис?» Но тогда же я и догадался, что это не она все создала, а ее создали, одну на всю область, чтобы пустить пыль в глаза. Хозяйство это создавалось сверху, как образец. Потом это стало называться показухой и очковтирательством. Я потому так подробно остановился на свинарке Люсковой, что поэма Яшина и воспевала такую вот Люскову, хотя она и называлась Аленой Фоминой.

Сама задача воспеть единичный случай, а не рассказать об общем состоянии деревни, о земледелии и положении вологодских крестьян-колхозников, сама эта задача была антихудожественна и антинародна. А стих, что ж... стих сам, по себе мог быть и хорошим. Потом Яшин

напишет повесть «Высочка», где как русский писатель-реалист расскажет правду об этой свинарке.

Да, стих мог быть и хорошим. Ну, скажем, так:

Никогда так низко не свисали

Наливные яблоки в саду.

В жизнь свою так парни не плясали.

Как плясали в нынешнем году.

Казалось бы, чем плохое четверостишие? Но когда мы увидим, что оно помечено 1937 годом, то мы вправе над ним задуматься. Вернее, не над ним, а над гражданской, социальной позицией их автора.

Сам А. Яшин пишущему эти строки рассказывал: «Получил я премию за «Алену Фомину» (он впоследствии никогда не переиздавал этой поэмы. - В. С.), купил «Победу» и поехал к своим землякам-вологодцам хвастаться. Собрать дань славы. Приехал, а там голод.... До сих пор как вспомню, так и краснею».

В том-то все и дело, что он сохранил способность краснеть.

Начало его биографии, его «вход» в литературу связан не с ослепительным блеском литературного успеха, а с обстоятельствами. Ведь он в свои двадцать лет не написал «Тихого Дона», подобно Шолохову, или «Страны Муравии», подобно Твардовскому. Но... Есенин уже ушел. Гумилев и Блок - ушли, Бунин и Куприн (каждый по-своему) - ушли. Надо было показать, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» советская земля рождать. А. Яшина на первых порах породили не его собственные стихи, но обстоятельства. Я не хочу останавливаться, а тем более выписывать строки и строфы из его ранних стихов; читатель, если захочет, может сам обратиться к ранним книгам поэта и поймет, что я хотел тут сказать.

Конечно, спору нет, Яшин родился с большим литературным талантом, если бы это было не так, не получилось бы в конце концов того замечательного писателя и поэта Яшина, каким мы его знаем теперь. Но время было такое, что одного литературного таланта могло не хватить. **Машина, создававшая из талантливого вологодского юноши нужного ей поэта, дала осечку.** Обтесав его со всех сторон, как нужно, **она, не сумев добраться, оставила ему совесть.** Способность краснеть. Это-то обстоятельство,

наложившись на врожденный талант, и породило потом Александра Яшина.

Внешне, если сопоставлять даты, **пробуждение совести и гражданского, сыновнего по отношению к родному народу, истинно патриотического самосознания** произошло в первой половине пятидесятых годов, после известных всему миру событий. Но не хотелось бы думать, что это так. Хотелось бы думать, что этот процесс был более постепенным и продолжительным, а известные события пятидесятых годов послужили последней каплей в уже полной чаше, той крупницей вещества, которое вызывает быструю кристаллизацию. Спелое яблоко падает мгновенно, но созревало оно перед этим постепенно и долго.

Первая ласточка «нового» Яшина был рассказ «Рычаги», появившийся в альманахе «Литературная Москва» в 1956 году. Нелепо (да и возможно ли) излагать содержание рассказа объемом в десять машинописных страничек, но трудно и передать тем, кто не помнит того времени, какое впечатление произвел тогда этот рассказ. Он произвел впечатление разорвавшейся бомбы и вызвал изумление, недоумение, озлобление, открытое негодование, восхищение и полный восторг. **Эти десять страничек не потеряли своей первоначальной свежести, своей драгоценности и сегодня.** «Рычаги» вместе с романом Дудинцева «Не хлебом единым», с очерком Ф. Абрамова «Вокруг да около» явились **знамением времени**, это было то попадание в «яблочко», после которого в тире мельница начинает крутиться, медведь заваливается на бок, утка падает...

Выстраданный, проникновенный, несущий огромный обобщающий момент, написанный в лучших традициях русской классической литературы, хотя и незатейливый на первый взгляд, этот рассказ вызвал яростный огонь критики. На Яшина наклеили ярлык «очернителя». «Снимите черные очки!» - кричали ему заголовки критических газет. Но очки не были черными, просто он снял розовые очки и увидел действительность, как поется в песне, «при ярком свете дня». А еще вернее, просто упала повязка с глаз.

Литературная жизнь А. Яшина складывалась так, что к критике (не просто к литературной критике, но к критике «сверху») он не привык. Она привела его в недоумение и замешательство, а если

учесть его повышенную ранимость, то можно вообразить, каким для него это было ударом. Однако, к чести А. Яшина, нужно сказать, что, встав однажды, на свой новый путь, он с него уже не сворачивал до конца жизни.

В это время меняется тональность и глубина стихов А. Яшина. Он заговорил совсем другим голосом.

Эти заметки предвзвоят книгу яшинской прозы, поэтому здесь не место распространяться о его поэзии, но пусть читатель сам возьмет и ранние, и поздние книги стихов А. Яшина и сам во всем убедится. Даже уже названия ранних и поздних сборников говорят очень много. Сравним хотя бы несколько названий первого и второго ряда. «Песни Северу», «Земля богатырей», «Советский человек», «Свежий хлеб», а потом «Бессонница», «Совесть», «Лирическое беспокойство», «Босиком по земле», «День творенья». От гармоней, разукрашенных зеркалами, от залихватских плясок парней под эти гармони, от безоблачных (а на самом деле — призрачных) деревенских колхозных идиллий творчество Яшина совершило эволюцию в сторону истинной любви к своему вологодскому северу и к людям, его населяющим.

Едва-едва начали затихать круги на воде брошенного в омут рассказика «Рычаги», едва-едва поутихла критика и стало Яшину как-то поспокойнее жить, как он бухнул в воду другой камень, и назывался он «Вологодская свадьба». С точки зрения традиций русской литературы это был хороший, добротный, бытовой, этнографический очерк. Ну, правда, реалистический, правдивый. Но когда же русская литература была неправдивой? Гоголь и Тургенев, Глеб Успенский и Короленко, Куприн и Чехов... «Антон Горемыка», «Подлиповцы», «Сон Макара», «Записки Охотника», «Сахалин», вся публицистическая и очерковая литература девятнадцатого века.

Наследуя эту традицию, Яшин и написал свою «Вологодскую свадьбу». И боже мой, что же тут началось! Ведь законы литературы того времени предписывали изображать действительность не такой, какая она на самом деле, а такой, какой она должна была быть, какой ее хотело бы видеть руководство того времени.

Ладно, если бы просто пресса, статьи в центральных газетах, но возмездие оказалось более изощренным. Местные вологодские власти

организовали (теперь это доподлинно известно) так называемые письма земляков, заставляли людей ставить свои подписи под этими сфабрикованными письмами, и письма эти посылались в центральные газеты, а копии, естественно, самому Яшину. Яшин - очернитель, Яшин - клеветник, он искажил нашу светлую, счастливую, культурную жизнь - вот основные мотивы и основная тональность этих писем. Конечно же, Яшину, любящему свою родную землю и своих земляков так, как никому и не снилось их любить, эти письма с десятками подписей были обиднее и больше, нежели статьи записных московских критиков-профессионалов.

Когда сейчас перечитываешь «Вологодскую свадьбу», возникает легкое недоумение: за что, почему вдруг такая яростная реакция? Ну, подумаешь, разучились петь старинные свадебные песни, волокнистые, как их называет одна старушка; ну, подумаешь, жених приехал за невестой на самосвале (раньше тройки с бубенцами и в лентах); ну, подумаешь, жених, напившись вусмерть (раньше жених и невеста только пригубивали), кричал всем, что он - Чапай; ну, подумаешь, один старик, захмелев, подходил к каждому и, вынимая вставную челюсть, хвастался, какая у него прекрасная вставная челюсть... Все как будто бы - безобидная мелочь...

Дело в другом. Официальную критику, а сказать точнее - официальные инстанции напугал подлинный, в традициях настоящей русской литературы реализм этого очерка. Этим очерком послушная до сего времени литература, вместе с упомянутыми уже романом Дудинцева «Не хлебом единым», с очерком Федора Абрамова «Вокруг да около», с теми же яшинскими «Рычагами», сворачивала с пути синтетической лжи в сторону ржаного хлеба правды. Этого допустить было нельзя. Но не допустить этого тоже было уже нельзя. **Процесс начался, процесс продолжается. Не забудем же, что у истоков этого процесса стоял замечательный русский писатель Александр Яшин.**

Александр Яшин скончался, как пишется в некрологах, от продолжительной тяжелой болезни летом 1968 года. Значит, если мерить от «Рычагов», ему на свой новый путь, на новую «раскрутку» своего, литературного дарования было отпущено двенадцать-тринадцать лет. С одной стороны, не так уж и мало. Но, так как этот новый путь

лежал главным образом через прозу (хотя повторю, что как поэт Яшин в эти годы заговорил совсем другим голосом и написал много прекрасных стихотворений), а проза требует времени и времени, то, когда Яшин ушел, у всех осталось ощущение, что он ушел на самом своем подъеме, на взлете, что он к своим пятидесяти пяти годам не обозначил еще своего литературного «потолка», что он ушел не договорив, что болезнь его сбила влет.

Поэтому особенно горька эта утрата, поэтому с особенным вниманием вчитываемся мы в каждую яшинскую последнюю, предпоследнюю строку, в последний рассказ, в последнюю повесть. Мы как бы стараемся угадать, а чем бы еще одарил нас А. Яшин, проживи он, подольше. Ведь его путь - был путь к правде, и этот путь резко набрал кругизну.

В письме своему ученику и, я бы сказал, воспитаннику, замечательному русскому писателю Василию Белову, Яшин завещал похоронить его на родине, около деревни Блудново, на Бобришном угоре, над рекой Юг, в сосновом бору.

Там он и лежит, человек, чье сердце после заскорузлых десятилетий открылось добру, свету и правде. Уже нет организованных «писем земляков», есть, напротив, ежегодный литературный праздник А. Яшина на Бобришном угоре, есть улица имени Яшина в Вологде, есть улица его имени и в Никольске, есть даже пионерский лагерь имени Яшина. Все встает на свои места. Осталось его литературное наследие. Многие из него впервые включаются в эту книгу, многое ждет публикации, например, дневники. Нет только самого человека, которому сейчас, когда я пишу эти строки, исполнилось бы семьдесят пять лет. Нет человека одаренного, острого, колючего, доброго, правдоискателя и правдолюбца, человека крайне ранимого, человека... Хотел сказать беззаветно любящего свою землю и свой народ, но потом подумал, что частица чего-либо не может любить то целое, частицей чего она является. Яшин был частицей родной земли и народа.

Сколько-то лет тому назад меня остановила на улице одна общая наша знакомая.

- Вы знаете, у сына Яшина родился сын и его назвали Александром. Теперь будет на свете еще один, новый Александр Яшин.

Я вспомнил своего друга. Как в кино, прокрутилась у меня в

мозгу и его Вологодчина, и коллективизация, и колхозы, и война, и послевоенная и современная российская наша деревня, все боли, все горести: все, подчас, бессилие что-либо сделать, чем-либо помочь, весь его характер, все его человеческие качества, сформировавшиеся под воздействием тех трех изначальных слагаемых, о которых писалось на первой странице этих заметок, и я подумал: «Нет, нет. Никакие, ни земные, ни космические силы не создадут еще одного Александра Яшина!»

1988 год.

(Предисловие к книге Александра Яшина «Земляки».

1989 г. Москва. «Современник»)

Борис Чулков

Памяти А. Яшина

«Почти в упор ударили орла...»

Александр Яшин.

За то, что были крылья у орла,
Его и осудили силы зла.
Но верил он, что быть судье - судимым!
Он верил в это неискоренимо,
Неистребимо, зная наперед,
Что час его придет, еще придет.
Уверен в торжестве своем грядущем,
Всей сутью говорил он власть имущим:
«Я знал, какому божеству служить,
От Родины меня не отлучить.
За крылья осудили судьи злые.
Но я не им служил - служил России!»

Содержание

Слово к читателю.....	3
Выступление Александра Яшина на II съезде писателей СССР 21 декабря 1954 года.....	4
Рычаги.....	13
Семь верст до небес.....	28
Дорогой совести к правде.....	46
Памяти А. Яшина.....	55